РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
СОРМОВСКИЙ ХЛЕБ
Мама всегда знала больше...
РАЗВОД.
Всё записано на маму
Свой хлеб. Своя жизнь.
ООО «Сормовский хлеб»
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
СОРМОВСКИЙ ХЛЕБ

Оксана Верес

Развод. Всё записано на маму

https://litres.ru/74667489
SelfPub; 2026

Аннотация

Первая книга серии «Развод. Двадцать лет на его имя»

Двадцать лет брака — и ни дома, ни бизнеса, ни уверенности в завтрашнем дне. Муж уходит к другой, свекровь выставляет счёт за прожитые годы, а Вере предлагают три миллиона за молчание.

Но бывший главный бухгалтер умеет считать. И она найдёт, куда исчезли деньги, кто подделал документы и какую тайну семья скрывает семнадцать лет.

Вот только Глеб Корнеев приехал взыскать с её завода четырнадцать миллионов. Он не спаситель и не союзник. Пока.

Вера готова вернуть всё, что у неё отняли. Даже если придётся начать с нуля — и рискнуть сердцем, которое она давно списала со счетов.

Оксана Верес
Развод. Всё записано на маму

Глава 1

Отказ

Седьмого октября я проснулась в шесть ноль две, за три минуты до будильника. Так я просыпалась шестнадцать лет подряд. Организм главного бухгалтера не верит будильникам, он верит только закрытию квартала.

Вадима рядом не было. Подушка смята, но уже холодная, часов на тумбочке нет. Раз в неделю он уезжал на завод к шести: «Машины встречу, ты спи». Я и спала. Двадцать лет брака — это когда не спрашиваешь, каких машин он ждёт в шесть утра во вторник.

В шесть ноль пять я поставила чайник. В шесть двенадцать спустился Тёма в пижаме с якорями и объявил, что сегодня блины. Объявил не мне, а миске: он уже насыпал в неё муку, разбил два яйца, одно мимо, и теперь задумчиво вылавливал скорлупу пальцем.

— Тём, в шесть утра блины — это подвиг.

— Это не подвиг, это тесто должно постоять двадцать минут, — ответил мой одиннадцатилетний сын голосом техно-

лога Зои Михайловны. — Я посчитал. Если сейчас замесить, к без двадцати семь как раз.

Он месил молча и обстоятельно, как клеил свои парусники: по инструкции, которую сам и составил. Я смотрела на его затылок с вихром и думала, что из всего, что я сделала в жизни, этот вихор — самое удачное.

В шесть пятьдесят спустилась Соня. Наушники, худи с капюшоном, телефон в руке. Семнадцать лет, одиннадцатый класс, профильная математика. Она взяла блин двумя пальцами, сложила вчетверо и съела, не вынимая из ушей музыку.

— Сонь, доброе утро.

Она подняла бровь. Это и было доброе утро. Бровь у неё моя, ладыгинская, но в этом Соня не признается даже под пыткой.

В семь пятнадцать мы выехали. Новинки — Мещерский мост — Сормово: сорок минут, если не встать у Канавинского. Гимназия у нас в Сормове, в двух остановках от завода. Когда мы строились в Новинках, я ещё каждый день ездила на завод, и возить детей туда, где работаю сама, казалось логичным. Логика устаревает быстрее, чем привычка.

В восемь ноль три я высадила обоих у ворот. Соня ушла не оглянувшись. Тёма помахал. В восемь пятнадцать я уже стояла на светофоре у Канавинского моста, а в девять ноль пять парковалась в переулке за Покровкой.

* * *

По вторникам я проверяла флагманскую пекарню «Тёплого хлеба». Официально я два года как «отошла от дел», неофициально знала эту витрину лучше, чем собственный холодильник. Каждый пирожок в ней я когда-то сама заставила лечь именно так. Ржаной заварной слева, потому что люди тянутся правой рукой, а ржаной покупают те, кто знает, чего хочет. Сдоба справа, на уровне глаз ребёнка.

На кассе стояла новенькая, лет двадцати, с кольцом в брови и бейджиком «Алина».

— Капучино и две чиабатты с собой.

Я приложила карту. Терминал подумал и выдал короткую сердитую трель.

— Отказ, — сказала Алина. — Давайте ещё раз.

Второй раз он думал дольше. Как будто сомневался, говорить ли мне.

— Отказ.

Сзади кто-то вздохнул. У кассы на Покровке в девять утра всегда кто-то вздыхает: люди опаздывают и хотят кофе. Я достала зарплатную карту, на которую шестнадцать лет падали мои официальные сорок пять тысяч. Терминал пискнул весело.

— Спасибо, приходите ещё, — сказала Алина и посмотрела на меня так, как смотрят на женщин в хорошем пальто, у которых не проходит карта.

Я ни разу в жизни не стояла с этой стороны кассы.

В машине я позвонила в банк. Робот, два меню, мелодия,

девушка Екатерина. Она проверила, извинилась и сообщила, что моя дополнительная карта заблокирована держателем основного счёта. Сегодня в шесть сорок одну.

— Держатель основного счёта — Соколов Вадим Сергеевич, — сказала Екатерина. — Разблокировать её может только он. Я могу вам ещё чем-то помочь?

Я сказала, что нет, и положила трубку. Шесть сорок одну. Машины он встречал.

Можно было бы ему позвонить. Двадцать лет я так и делала: «Вадь, у меня карта не проходит», и через минуту приходило «Ой, глюк, щас». Я посмотрела на телефон, на его фотографию в контакте — Вадим на рыбалке, загорелый, с щукой, — и звонить не стала. Сначала считать, потом чувствовать. Папа говорил: если цифры не сходятся, не ори на кассира — найди, где ошибка.

Я открыла ноутбук. Банк-клиент «Сормовского хлеба» я знала наизусть: логин, пароль, токен. Последние два года я «подсказывала» Нине Павловне по шесть часов в день: проверяла выписки, ставила платежи в очередь, ловила задвоения. Удалённо, из дома, бесплатно. Мне казалось, что это любовь к делу. Вадим говорил: «Ты у меня золото».

Неверное имя пользователя или пароль. Обратитесь к администратору организации.

Я ввела ещё раз, медленно, проговаривая буквы. То же самое.

Нина Павловна взяла трубку после пятого гудка. На фоне

гудел принтер и кто-то разговаривал.

— Нина Пална, у меня банк не пускает. Вы пароль меняли?

Пауза. Нина двадцать лет была моей правой рукой. Её голос я узнавала по первому вдоху: уставший, раздражённый, «Верочка, вы гений». Сейчас она не дышала совсем.

— Верочка, — сказала она шёпотом. — Я не могу говорить.

И сбросила.

Я сидела в машине в переулке за Покровкой, на коленях лежали две остывающие чиабатты в крафтовом пакете. Корка на них была мягкая. Значит, на прошлой неделе снова сменили муку на дешёвую. Отмечать такое я умею даже тогда, когда у меня рушится жизнь. Особенно тогда.

* * *

До обеда я делала то, что делает любая взрослая женщина, когда её мир даёт сбой: всё, что было запланировано. Забрала из химчистки Вадимов костюм — его, кстати, я оплатила наличными, и это вдруг показалось смешным. Купила Тёме клей для моделей, а Соне — маркеры для конспектов, которыми она никогда не пользуется. Заехала в МФЦ за справкой для Тёминого лагеря.

В час двадцать позвонил дядя Гена.

Геннадий Борисович Лаврентьев, папин однокурсник по политеху, мой крёстный и Тёмин. Семьдесят два года, бархатный голос, адвокатская контора на Ильинке и мандарины

на каждый Новый год. Он был финансовым директором завода, когда я ещё ходила под стол, и до сих пор звал меня так, как звал папа.

— Ты как, Верунь? Банк глючит, мало ли. Ты не нервничай.

— Глючит, — согласилась я. — Дядь Ген, а ты не знаешь, что у Вадима…

— Не дури, — ласково перебил он. — Вечером поговорите. Мужик устал, на заводе проверка, нервы. Поговорите, как взрослые люди. Ну всё, обнимаю, у меня клиент.

Я ещё постояла с телефоном у уха. Дядя Гена всегда так говорил — «не дури». Когда я в шестнадцать собралась бросить музыкалку. Когда в двадцать один выходила замуж за Вадима и плакала накануне: «Не дури, хороший парень». Когда папа умер. Это слово было у него вместо «держись».

* * *

Вадим приехал в восемь ноль семь. Я услышала, как хлопнула дверь «Камри», и машинально посмотрела на часы — бухгалтерская привычка фиксировать время операции.

Тёма был наверху с моделью. Соня — у себя, в наушниках, за закрытой дверью. Я стояла на кухне и резала огурцы в салат, который никто не будет есть.

Он вошёл и не снял пальто. Это я заметила первым. Вадим всегда раздевался в прихожей, бросал ключи в блюдо из Мурано, которое нам подарили на десятилетие свадьбы, и кричал: «Есть что пожрать?» Сегодня ключи остались у него

в руке. Он прошёл на кухню, сел на высокий стул у острова и положил ключи перед собой, как на переговорах кладут телефон.

— Привет, — сказала я. — Карта утром не прошла.

— Знаю. — Он кивнул. — Я её закрыл.

— Позвонить было сложно?

— Вера, сядь.

Я не села. Я держала нож и огурец, и мне было почему-то важно их не выпускать.

— Банк-клиент тоже ты?

— Ты не работаешь на заводе, — сказал он спокойно, как на планёрке, когда объяснял логистам, почему опять не уложились в график. — Ты сама так решила, два года назад. Доступ у постороннего человека к банку — это нарушение. Мне Ковальчук сказал, я сделал.

— Посторонний человек — это я?

— Я неправильно выразился.

Он потёр переносицу. Устал, сказал бы дядя Гена. Я смотрела на мужа и видела то, на что двадцать лет не смотрела: он подготовился. Пальто не снял, чтобы не задерживаться. Ключи держал на виду, чтобы я поняла, что он уедет. Говорил ровно, потому что знал заранее каждую фразу. Вадим никогда не умел управлять заводом, но разговаривать умел всегда. За это его когда-то и взяли менеджером по продажам.

— Вер, я не хочу скандала. Дети дома.

— Я тоже не хочу. Поэтому скажи уже, что ты пришёл

сказать.

Он помолчал. Посмотрел на потолок, туда, где был Тёмин звук: шуршание бумаги, щелчок пинцета.

— Я двадцать лет живу в вашем доме, — сказал он. — Твоего отца. Твоей матери. Твоём. Я тут как… Ладно. Это неважно.

— Вадик, это наш дом. Он вообще на твою маму записан.

Он почему-то усмехнулся.

— Вот именно.

Я положила нож. Огурец оставила в руке. Глупо, но я стояла и держала огурец, как держат свечку на похоронах.

— Говори.

Он встал, застегнул верхнюю пуговицу пальто, взял ключи и посмотрел на меня прямо — впервые за вечер. В этом взгляде не было ни злости, ни вины. Было облегчение человека, который двадцать лет просил меня подписать «вот тут», а теперь сам положил на стол все бумаги разом.

— Я подаю на развод, — сказал он. — Кристина ждёт сына.

Глава 2

Всё записано на маму

Ночью я не спала, но и не плакала. Я считала.

Кристина. Кристина Мальцева, директор по маркетингу «Тёплого хлеба», тридцать три года, светлый пиджак, хорошие зубы. Четыре года назад я сама подписывала её трудовой

договор — тогда ещё подписывала. На собеседовании она сказала, что наш бренд «тёплый, но немножко бабушкин» и что его надо «омолодить». Я подумала: девочка из маркетинга. Омолодить она, как выяснилось, решила не только бренд.

Я считала месяцы. Если сын, то пол уже известен, значит, срок не меньше восьми недель. Значит, август. Значит, когда мы в августе собирали Соню к одиннадцатому классу и Вадим «задерживался на инвентаризации», он… Дальше я считать перестала. Некоторые цифры лучше оставить в столбике, не подводя итог.

Вадим уехал в восемь сорок, сказав: «Детям завтра сам скажу, с мамой». Я не поняла, при чём здесь его мама. Утром поняла.

* * *

В семь тридцать в замке повернулся ключ.

Я стояла у плиты в халате и варила Тёме овсянку — блины второй день подряд я бы не пережила. Дверь открылась, и в прихожую вошла Галина Борисовна Соколова в бежевом плаще и с сумкой-тележкой в клетку.

— Не пугайся, — сказала свекровь. — Я своим.

У неё действительно был свой ключ. Десять лет был, я его сама ей заказывала. «Пусть будет, мало ли, дети, трубу прорвёт». Я тогда думала, что это забота.

Она прошла на кухню, не разуваясь. Серые замшевые полусапожки, на мраморной плитке остались два мокрых следа: на улице была морось. Тележку она поставила у острова,

расстегнула её и достала прозрачный файл, а из файла — лист.

— Это чтобы без недопонимания, — сказала она и положила лист на стол, рядом с Тёминой тарелкой.

Выписка из ЕГРН. Свежая, позавчерашняя, с QR-кодом. Объект: жилой дом, площадь 220 квадратных метров, Нижегородская область, посёлок Новинки. Правообладатель: Соколова Галина Борисовна. Дата регистрации права — 2015 год.

Я это знала. Конечно, знала. В пятнадцатом году Вадим сказал: «Давай оформим на маму, надёжнее, если с заводом что-то». С заводом тогда было что-то постоянно — проверки, сети с ретро-бонусами, мука то по пятнадцать, то по двадцать два. Я кивнула. Мы были одной семьёй. Деньги, как Вадим тогда сказал, были его: премия, кредит, мамины сбережения, «я разберусь». Я не вникала. Дом я не считала, я считала завод.

Галина Борисовна щёлкнула кнопкой чайника, как у себя дома. Впрочем, она и была у себя дома.

— Ещё «Тёплый хлеб», — сказала она, — тоже мой. Сто процентов. Ты это тоже знаешь, сама оформляла.

Сама. В семнадцатом году я собрала из двенадцати пекарен отдельное общество, чтобы торговлю отделить от производства, — правильно, чисто, по учебнику. Учредителем записали свекровь: «Вадик директор, а учредитель пусть будет мама, чтоб не всё в одних руках». Не всё в одних руках, как

же. Всё оказалось в одних, просто не в моих.

Двадцать лет я вела бухгалтерию. Как выяснилось, чужую. Самое смешное — я была уверена, что это моя.

— Чай будешь? — спросила свекровь.

Она достала из шкафчика мою чашку. Не гостевую — мою, белую, с тонкой золотой полоской, из сервиза, который подарила мне мама. Налила, бросила пакетик. Себе взяла Вадимову, с надписью «Лучший папа», которую Тёма раскрашивал в четыре года.

— Садись, Вера. В ногах правды нет.

Я села. Не потому что она велела, а потому что ноги решили за меня.

— Я не зверь, — сказала Галина Борисовна. — Поживите пока. Тёме до конца четверти доучиться надо. Соня, конечно, остаётся, ей экзамены. Я сюда переберусь, присмотрю. Вадик просил.

— Вадик просил, — повторила я.

— А ты как думала? Он мой сын.

Она отпила из «Лучшего папы» и посмотрела на меня поверх кружки. У неё были хорошие глаза — серые, внимательные, складские. Десять лет она заведовала складом готовой продукции на нашем заводе и пересчитывала поддоны одним взглядом. Сейчас она пересчитывала меня.

— Я, Вера, в бараке выросла. На Бурнаковке. Семь семей, одна плита, туалет во дворе. Ты этого не знаешь и знать не можешь. Ты в Сормове на Коминтерна в сталинке росла, с

пианино. Папа — директор, мама — учительница.

— Галина Борисовна, при чём здесь…

— При том. — Она поставила кружку. — Твой отец, царство ему небесное, меня на склад взял. И все десять лет здоровался со мной так, будто одолжение делал. Не со зла. Порода такая. Ладыгинская. Вы и не замечаете, как другие на вас смотрят, потому что вам не надо смотреть снизу.

Я хотела сказать, что папа здоровался так со всеми, даже с министрами. Что он был близорукий и стеснялся очков. Что гордость у него была не от породы, а от того, что он в девяносто третьем вытащил этот завод из руин голыми руками. Ничего этого я не сказала. Когда свекровь в семь утра стоит на твоей кухне с выпиской, спорить о покойниках неэффективно.

— Вадик двадцать лет был у вас при доме, — сказала она. — Как зять у барина. Хватит.

На лестнице раздались шаги. Соня спускалась в наушниках, с рюкзаком на одном плече. Увидела бабушку, вынула один наушник.

— Ба, привет.

— Привет, солнышко. Блинчиков тебе?

— Не, меня Настин папа ждёт, у нас консультация.

Она чмокнула бабушку в щёку, взяла из вазы яблоко и ушла, не взглянув на меня. Я смотрела ей вслед и отметила то, что не хотела отмечать: моя дочь не удивилась. Бабушка в семь тридцать утра на нашей кухне, в сапогах, с файлом —

а Соня сказала «привет», как будто так было всегда.

Значит, она знала. Не про выписку — может быть. Но про то, что сегодня бабушка будет здесь, знала.

Тёма спустился следом, уже одетый, в форменной жилетке, с рюкзаком, на котором болтался брелок-якорь.

— Здравствуйте, бабушка Галя.

— Здравствуй, внучек. Каша остывает.

Он сел, посмотрел на неё, на меня, на выписку рядом со своей тарелкой. Тёма всё видит. Он такой с трёх лет: молчит и складывает детали. Он аккуратно отодвинул выписку локтем, чтобы не капнуть на неё молоком.

— Мам, мы не опоздаем?

— Не опоздаем.

Я поднялась наверх, оделась за четыре минуты, джинсы и свитер — для пальто не было сил, взяла куртку. Внизу свекровь мыла мою чашку. Тщательно, под горячей водой, будто после чужого.

— Вечером Вадик приедет, — сказала она, не оборачиваясь. — С вещами разберёмся.

* * *

«Киа» завелась с полоборота. Тёма пристегнулся сам, как всегда, и сразу полез в телефон смотреть видео про такелаж.

Новинки — мост — Сормово. Тот же маршрут, тот же светофор у Канавинского, та же радиоведущая, которая уверяла, что сегодня в Нижнем плюс девять и переменная облачность. Я вела машину и думала, что всё вокруг такое же, как

вчера, а изменилась только бумага на кухонном столе. Удивительно, сколько жизни может уместиться в одну выписку с QR-кодом.

В восемь ноль одну я въехала на парковку у гимназии. Утро обычное: мамы у ворот, кто-то с самокатом, кто-то с кофе, Лена Пронина в розовом пуховике машет мне рукой. Я помахала в ответ. Тёма отстегнулся.

— Пока, мам.

— Пока, Тём. Обед в контейнере.

Он открыл дверь, я потянулась забрать с заднего сиденья его сменку и в зеркале увидела, как к воротам медленно, задом, сдаёт жёлтый эвакуатор с платформой. Встал он ровно за моим бампером.

Из кабины вышел мужчина в чёрной куртке, с синей пластиковой папкой. Огляделся, сверил что-то в телефоне и пошёл к моей двери.

Мамы у ворот перестали разговаривать.

Мужчина наклонился к моему окну и постучал костяшкой.

— Соколова Вера Алексеевна? — спросил он, когда я опустила стекло. — Договор лизинга расторгнут.

Глава 3

Пап, я с тобой

— Вы ошиблись, — сказала я. — Это моя машина.

Мужчина с папкой посмотрел на меня с усталой жало-

стью. Так смотрят люди, которые каждый день слышат одну и ту же фразу и каждый день отвечают одно и то же.

— Лизингополучатель — общество с ограниченной ответственностью «Сормовский хлеб». — Он раскрыл папку и показал мне лист через стекло. — Уведомление о расторжении договора лизинга по инициативе лизингополучателя. Подписано генеральным директором Соколовым В.С. Предмет лизинга подлежит возврату лизингодателю. Вот акт. Вы можете не подписывать, это не обязательно. Ключи, документы, пожалуйста.

Я знала этот договор. Я сама его проверяла в двадцать третьем. Кроссовер, тридцать шесть месяцев, автомобиль для служебных разъездов главного бухгалтера. «Возьмём на завод, так выгоднее по налогам», — сказал Вадим. Всё было выгоднее по налогам. Даже я.

Тёма стоял у открытой пассажирской двери и держался за лямки рюкзака обеими руками, будто его тоже собирались погрузить на платформу.

— Тём, иди на уроки.

— Мам…

— Иди. Всё в порядке. Это рабочий вопрос.

Он не пошёл. Он стоял и смотрел, как я выключаю двигатель, достаю из бардачка СТС, вынимаю из подстаканника свой термос, из кармана двери — зонт, из багажника — пакет с Сониными кедами, которые она месяц просила отвезти в ремонт. Всё это я сложила на асфальт рядом с собой.

Получилась маленькая горка женского имущества: термос, зонт, кеды, автомобильная зарядка, пачка влажных салфеток и детское кресло-бустер, из которого Тёма вырос два года назад, а я так и не выложила.

Лена Пронина подошла, встала рядом и спросила шёпотом:

— Вер, тебе помочь?

— Нет, спасибо.

Она отошла. Через четыре минуты, когда моя «Киа» уже стояла на платформе, задрав нос, я почувствовала, как в кармане завибрировал телефон. Одно сообщение, второе, пятое.

Родители 5 «Б»: фото. Подпись: «Девочки, это у нас что, у школы машины эвакуируют?? Тут же не запрещено!»

«Это не за парковку, это лизинг забирают, я рядом стояла О_О»

«Ой…»

«Держитесь, кто бы это ни был <3»

Кто бы это ни был. На фото было видно моё лицо, номер машины и Тёмин рюкзак с якорем.

— Тёма, — сказала я, и голос получился, как у моей мамы на родительском собрании. — На уроки. Сейчас.

Он ушёл. Обернулся у ворот. Я помахала. Эвакуатор тронулся.

* * *

Вадим взял трубку с первого гудка. Значит, ждал.

— Ты забрал у меня машину у школы. При ребёнке.

— Я не забирал. Я расторг договор лизинга, потому что это машина завода. — Голос у него был ровный, на заднем плане урчал кондиционер в кабинете. — Ты на заводе не работаешь. Ты дома сидишь. Зачем тебе заводская машина?

«Дома сидишь». Он ни разу за два года так не говорил. Говорил: «Отдохни», «Займись детьми, ты заслужила», «Подсказывай Нине, если не трудно». А теперь — «сидишь». Это слово не родилось сегодня утром. Он его готовил, примерял, оттачивал. Может быть, вслух, перед Ковальчуком. Может быть, перед Кристиной.

— Можно было предупредить.

— Ковальчук сказал: не предупреждать, а то наделаешь глупостей. Вер, давай без истерик. Вечером приеду. С мамой.

Он отключился. Я стояла у ворот гимназии с горкой вещей у ног и думала: какие глупости я могла бы наделать с «Киа»? Угнать в Казахстан?

Такси до Новинок стоило тысячу триста сорок рублей. Таксист помог погрузить бустер и спросил: «Переезжаете?» Я сказала: «Похоже на то».

* * *

Вечером они приехали вдвоём. Вадим с двумя пустыми чемоданами, Галина Борисовна — с одним полным. Свой она поставила в гостевую. Вадим ушёл в гардеробную.

Я позвала детей на кухню.

Есть разговоры, к которым готовишься годами, а когда они случаются, оказывается, что ты не подготовилась ни к одному слову. Я сто раз видела в кино, как родители сажают детей и говорят: «Мы с папой решили…» В кино у всех были приличные лица и красивые свитера. На мне были джинсы, в которых я утром собирала с асфальта кеды.

— Ребята, мы с папой разводимся, — сказала я. — Мы оба вас любим. Это не ваша вина и не ваше решение. Папа будет жить отдельно. Вы будете с ним видеться, сколько захотите.

Вадим стоял в дверях кухни с чемоданом. Кивнул. Хотел, видимо, что-то добавить, но посмотрел на Тёму и не стал.

Про Кристину я не сказала ни слова. Не при Тёме. Соня, судя по её лицу, знала и так. Тёма… Тёма потом узнает от кого угодно, только не от меня. Я так решила ещё ночью: ни одного плохого слова об отце при сыне. Это была единственная цифра в моём балансе, которую я контролировала полностью.

— А бабушка Галя зачем? — спросил Тёма.

— Бабушка поживёт, присмотрит за вами, — сказала свекровь из коридора. — Мама же у вас теперь…

Она не договорила, но все поняли, чем у вас теперь мама.

— Если кому-то здесь будет тяжело, — сказала я ровно, глядя только на детей, — у бабушки Люды есть место. Мы решим. Не сегодня.

Соня встала и ушла наверх. Я слышала, как хлопнула её дверь, как выдвигались ящики, как вжикнула молния на

большой спортивной сумке. Через десять минут она спустилась — с сумкой через плечо, в куртке, с лицом, которое я видела у себя в зеркале в двадцать один год, перед свадьбой.

— Сонь… — начала я.

Она на меня не посмотрела. Она смотрела на отца.

— Пап. Я с тобой поеду.

Вадим поставил чемодан. Я видела, как у него дёрнулась щека, как он быстро посмотрел на мать, потом на дочь, и я прочитала по этой щеке всё его будущее: квартира на Верхневолжской, двушка, в которой живёт беременная Кристина, и семнадцатилетняя дочь с сумкой на пороге.

— Сонь, там пока… — сказал он. — Там ремонт, тесно, ты к экзаменам… Давай пока здесь, с бабушкой. Я каждый день буду. Правда.

Соня постояла секунду. Потом сняла сумку с плеча, поставила на пол прямо посреди кухни, расстегнула молнию и начала выкладывать вещи на стол: футболки, зарядку, учебник Ященко по профильной математике, плюшевого зайца, которого я не видела у неё лет пять.

— Я никуда не еду, — сказала она. — Это мой дом.

Потом сложила зайца пополам, сунула под мышку и подняла на отца глаза.

— Пап, я с тобой. Понял? Я с тобой.

Она не уезжала с ним. Она оставалась в бабушкином доме, на его стороне. Она прикрыла его. Семнадцатилетняя девочка, которой отец только что сказал «там тесно», прикры-

ла его от моего взгляда, от бабушкиного, от своего собственного. Вадим выдохнул, и я увидела, что ему стало легче. Ему всегда становилось легче, когда кто-то прикрывал его вместо него самого.

Наверху скрипнула дверь. Тёма, которого никто не заметил, вышел из кухни ещё в начале. Теперь он спускался по лестнице медленно, двумя руками неся перед собой модель «Крузенштерна» — четыре мачты, сто двадцать деталей такелажа, подарок крёстного на десятилетие. Тёма клеил её восемь месяцев.

Он прошёл мимо сестры, мимо отца, мимо бабушки, встал рядом со мной и поставил корабль на стол, у моего локтя. Ничего не сказал. Просто встал рядом. Я положила руку ему на плечо, а он прижал её своей ладонью, не глядя.

Никто не плакал. Вадим поднял чемодан и пошёл к двери. Галина Борисовна поджала губы. Соня с зайцем под мышкой поднялась наверх.

Я сидела на кухне до двух ночи и подводила итоги, как в декабре подводила итоги года.

За тридцать шесть часов я потеряла мужа, дом, машину и дочь.

Оставался завод.

Утром я поехала туда.

Глава 4

Проходная

На завод я приехала на трамвае. Последний раз я ехала на сормовском трамвае лет в восемнадцать, и тогда он пах точно так же: мокрой резиной, железом и чьими-то семечками. Я стояла у задней двери, держалась за поручень и смотрела, как за окном проплывают Сормовский парк, гаражи и серые корпуса судоверфи. Потом показались наши трубы.

Мой отец купил этот завод в девяносто третьем вместе с дядей Геной, на ваучеры, долги и честное слово. Мне было девять. Я помню первый хлеб, который они выпустили после ремонта печи: папа принёс домой буханку, положил на стол, разломил руками и сказал маме: «Люда, мы живы». Мама заплакала. Я не поняла почему. Теперь понимала.

Проходная у нас старая, с турникетом-вертушкой, будкой со стеклом и табличкой «Предъявите пропуск в развёрнутом виде». Я приложила карточку к считывателю. Красный огонёк.

— Вера Алексеевна… — Дядя Миша поднялся из будки.

Михаил Петрович работал на проходной с девяносто шестого. Он помнил меня с косичками и с первым паспортом, когда я пришла летом в цех «по-взрослому». На его глазах я выходила замуж, отсюда меня везли в роддом с Соней. Сейчас он стоял передо мной и не знал, куда деть руки.

— Велено вас как посетителя, — сказал он и покраснел. — Извините. Распоряжение.

— Всё нормально, дядь Миш. Пишите.

Он достал из-под стойки толстый журнал в коленкоровой

обложке — точно такой же, как в девяностые, только обложка была уже синяя, а не бордовая.

— У нас по старинке, — сказал он, будто оправдываясь. — Алексей Николаевич приучил. Каждого в журнал, с часами. Компьютер компьютером, а бумага бумагой. Архив в подвале с девяностых, вся история. Девчонки из отдела кадров ругаются, место занимает, а я не даю выкидывать.

Он вписал своим аккуратным почерком: дата, «Соколова В.А.», цель визита — подумал и написал «личные вещи», время входа — 9:12. Протянул мне ручку, я расписалась. Первый раз в жизни я расписывалась на собственном заводе как гостья.

* * *

Административный корпус — два этажа, коридор с линолеумом под паркет и запах кофе из автомата, который ломается каждый вторник. Бухгалтерия справа, мой кабинет в торце. Последние два года я сидела в нём дважды в неделю. Остальное время я сидела дома за ноутбуком, но кабинет оставался моим, как остаётся твоей детская в родительской квартире.

Нина Павловна сидела за своим столом у окна и смотрела в монитор так внимательно, будто там показывали её собственный приговор.

— Доброе утро, Нина Пална.

— Доброе, — сказала она монитору.

Двадцать лет. Она пришла к нам при папе, рядовым бух-

галтером по зарплате. Я сделала её своим заместителем. Я была на свадьбе её Дениса. Я трижды отдавала ей свою премию, когда у неё болела мать. Она звала меня Верочкой и говорила: «Вы, Вера Алексеевна, гений, я без вас пропаду».

Не пропала, судя по всему.

Дверь моего кабинета была не заперта. Я вошла и сразу поняла: здесь уже кто-то был. Верхний ящик стола выдвинут на палец. Папки на полке стоят не по годам, а как попало. Кружку с рыжим котом, которую Тёма подарил мне на Восьмое марта в первом классе, сдвинули с подставки и поставили на подоконник. Мелочь, но тот, кто это сделал, не знал, что кружку я всегда ставлю ручкой к окну, чтобы кот смотрел на дверь. Теперь кот смотрел в стену.

Я не стала ничего выяснять. Коробку взяла в подсобке — из-под пробных пакетов муки «Городецкая мельница», с синей мельницей на боку и надписью «Образцы». И начала собирать вещи.

Кружка. Фотография детей, Соня в шесть, Тёма в год, оба в муке. Папин калькулятор «Электроника» — не работает с девяносто девятого, но выбросить нельзя. Шерстяной кардиган со спинки кресла. Крем для рук. Справочник технолога хлебопекарного производства восемьдесят шестого года с папиными пометками на полях. Блокнот, в котором я когда-то нарисовала первую витрину «Тёплого хлеба». Пачка открыток от сотрудников, которые я почему-то хранила в нижнем ящике.

Всё, что было здесь моего, уместилось в коробку из-под образцов и даже не доставало до краёв. Шестнадцать лет на одной полке.

В дверях появилась Зоя Михайловна Кулагина. Наш технолог с восемьдесят девятого года, «крёстная» каждой нашей рецептуры. Шестьдесят один год, белый колпак, руки как у хирурга, характер как у бетономешалки. В руках она держала что-то, завёрнутое в пекарскую бумагу.

— На, — сказала она и сунула свёрток мне в ладони. — Горячая.

«Городская булка». По ГОСТу, наша, с гребешком, с только что из печи блестящей корочкой. Бумага обжигала пальцы, и я перехватила булку, как когда-то на первой летней смене.

— Зой Михална…

— Молчи. — Она оглянулась в коридор, где Нина Павловна изучала монитор. — Мы всё знаем. Весь цех знает. Рустам!

Рустам Алиев, наш старший пекарь, тридцать четыре года, сам с Чкаловска, руки по локоть в муке, появился из-за её плеча, будто ждал за углом.

— Вера Алексеевна, давайте коробку.

— Я сама.

— Давайте. — Он забрал коробку и понёс по коридору, перекладывая её из руки в руку, будто она была горячей, как булка. Хотя она весила килограмма три.

У лестницы Зоя Михайловна взяла меня за локоть.

— Если что, — сказала она тихо, — мы с вами. Я и Рустам. И ещё кое-кто. Ты запомни.

Я запомнила.

* * *

Вадим из кабинета так и не вышел. Дверь приёмной была закрыта. Секретарша Оля, проходя мимо, сделала вид, что меня не знает.

Мы с Рустамом спустились к проходной. Я держала булку, он — коробку. Через стекло будки было видно, как дядя Миша кого-то вписывает в журнал.

У турникета стоял мужчина в рабочей куртке. Не офисный, не из налоговой: тёмно-синяя куртка с потёртыми манжетами, джинсы, ботинки, на которых ещё виднелась белёсая пыль. Высокий, сухой, около сорока пяти, коротко стриженный, с сединой на висках. В руке у него была тонкая папка.

Дядя Миша протянул ему ручку. Мужчина взял её, наклонился над журналом и на секунду задержал ручку над строкой. На секунду дольше, чем нужно человеку, чтобы вспомнить собственную фамилию. Потом расписался коротко, без завитушек.

— Корнеев. «Городецкая мельница», — сказал он дяде Мише. — К Соколову. Он в курсе.

Дядя Миша снял трубку внутреннего телефона, послушал, кивнул.

— Вадим Сергеевич занят. Просили передать бумаги в приёмную, Ольга спустится.

Мужчина не удивился. Он, кажется, вообще не умел удивляться, по крайней мере не на людях. Он отошёл от будки и чуть не налетел на Рустама с коробкой. Посмотрел на коробку, на синюю мельницу на боку, потом на меня.

— Это моя коробка, — сказал он.

— Это мои вещи, — ответила я. — Коробку можете забрать, когда я их выложу.

Он помолчал. Посмотрел на булку у меня в руках, на коробку, на мою куртку не по погоде.

— Вы Соколова. Главный бухгалтер.

— Пока да. Наверное.

— Тогда вы знаете. — Он чуть приподнял папку. — Ваш завод должен мне за полгода.

— Мой завод? — Я чуть не рассмеялась. — Уже нет.

— Неважно, чей. Важно, что должен.

— Четырнадцать миллионов шестьсот, — сказала я. — Если с поставкой от двадцать шестого сентября, по накладной на сорок тонн ржаной обдирной. Без неё — двенадцать девятьсот. Двадцать шестого вам ещё не подписали приёмку, у вас там была претензия по влажности. Влажность, кстати, правда была четырнадцать и восемь при норме четырнадцать и пять. Я бы на вашем месте не стала включать эту поставку, пока не урегулируете.

Он смотрел на меня так, будто я вдруг заговорила на его

родном языке посреди чужого города.

— Влажность урегулирована, — сказал он медленно. — Две недели назад. Ваш технолог подписал протокол.

— Тогда четырнадцать шестьсот. — Я кивнула. — С октября у вас начнут капать проценты по договору поставки, ноль один в день. Если вы, конечно, их не забыли прописать.

— Не забыл.

— Я знаю. Я этот договор согласовывала.

С лестницы спустилась секретарша Оля, взяла у него папку, поставила штамп входящего на копию и ушла, не глядя на меня. Корнеев сложил копию вдвое, сунул во внутренний карман и снова посмотрел на меня. Без жалости. За три дня это был первый человек, который смотрел на меня без жалости. Все остальные — дядя Миша, Зоя, Лена Пронина, таксист — смотрели на меня как на больную. А этот смотрел как на противника, у которого есть цифры.

— Претензия зарегистрирована сегодня, — сказал он. — Через тридцать дней — арбитраж.

— Логично.

— Вас это не пугает?

— Меня сейчас пугает только трамвай. — Я перехватила булку другой рукой. — Я не знаю, где у вас тут останавливается такси с коробкой.

Он не предложил подвезти. И правильно. Если бы он предложил, я бы, наверное, впервые за три дня заплакала.

Рустам вызвал мне такси и поставил коробку в багажник.

Корнеев вышел из проходной следом и направился к старому тёмно-зелёному «Ленд Крузеру» на гостевой парковке. Открыл дверь, поставил ногу на подножку и вдруг обернулся.

— Я знал вашего отца, — сказал он. — Мельком.

И сел в машину, и уехал, пока я ещё стояла с открытым ртом и горячей булкой в руке.

Глава 5

Одна комната

К маме я переехала в субботу, одиннадцатого.

Решение я приняла в такси от завода, по дороге в Новинки. Расчёт был простой, как приходный ордер. Без машины из Новинок до гимназии — два часа в день, Тёма будет вставать в шесть и приезжать в восемь вечера. Свекровь на кухне — каждый день, с «Лучшим папой» и моей чашкой. Соня наверху, за закрытой дверью, с зайцем и Ященко. А у мамы на Коминтерна — десять минут пешком до школы, окно во двор с тополем и мама, которая никогда не говорит лишнего. Иногда она не говорит и нужного, но сейчас это было плюсом.

Тёма, когда я ему сказала, спросил только одно: «А корабль влезет?»

Влез. «Крузенштерн» ехал на заднем сиденье такси на Тёминых коленях, укутанный в банное полотенце. Остальное — два чемодана, сумка с документами и бабушкина шкатулка — ехало в багажнике. Галина Борисовна стояла на крыль-

це и смотрела, как я гружу вещи. Соня не вышла.

* * *

Мамина двушка — сталинка на втором этаже, потолки три двадцать, паркет ёлочкой, который папа циклевал сам в восемьдесят пятом. Одна комната мамина, вторая когда-то была моей, потом стала кабинетом папы, потом, после него, — ничьей. Там стояли книжные шкафы, письменный стол, диван и пианино, на котором я в последний раз играла в шестнадцать.

Мама поставила для Тёмы диван, для меня — раскладушку. Раскладушку она достала с балкона и протёрла влажной тряпкой. Ни о чём не спросила, кроме:

— Тёма ест гречку?

— Ест.

— Хорошо.

Людмила Ивановна Ладыгина, шестьдесят семь лет. Тридцать пять лет учила химии сормовских подростков, из которых добрая половина работала потом у нас на заводе. Прямая спина, седой узел на затылке, очки на цепочке. Когда я была маленькой, мама казалась мне самым правильным человеком на свете: она никогда не опаздывала, не повышала голоса и всегда знала ответ. После папиной смерти она стала ещё правильнее и ещё тише, будто внутри у неё выключили какой-то прибор, а лампочка индикатора осталась гореть.

Тёма поставил «Крузенштерна» на подоконник, развернул носом на улицу и долго поправлял, чтобы мачты не за-

девали штору.

— Он смотрит на Волгу, — сказал он.

Отсюда Волгу не видно, но спорить я не стала.

Вечером я разбирала чемоданы и поняла, что одну сумку с зимними вещами положить некуда. В коридоре у мамы большая антресоль под потолком — папина, с дверцами на защёлке. Я принесла из кухни табуретку, встала на неё и потянулась к защёлке.

— Не лезь.

Мама стояла в дверях своей комнаты. Голос у неё был не громкий, но такой, каким она когда-то останавливала класс, где кто-то решил поджечь магний.

— Мам, я только сумку…

— Не лезь, я сама. Там всё поедет. Слезай. Я завтра освобожу тебе место в шкафу.

Я слезла. Мама подошла, проверила защёлку — закрыта — и ушла к себе. Я стояла с сумкой в руках и думала: у каждого есть своя антресоль. У меня, оказывается, была целая жизнь на антресоли, которую я двадцать лет не открывала.

* * *

Тёма переодевался в пижаму. Он теперь стеснялся, отворачивался, но дверь в комнату всё равно не закрывал до конца — привычка, ещё с детства, когда боялся темноты. Я мельком увидела у него на животе, справа внизу, тонкую розоватую полоску.

Аппендицит. Позапрошлой весной — той самой, когда я

«отошла от дел». Он проснулся ночью, белый, с поджатыми коленями, и сказал: «Мам, мне как будто туда воткнули шило». Детская больница, приёмный покой в три часа ночи, хирург с усами, как у моржа, и мой сын, которого увозят на каталке и который просит не говорить Соне, что он плакал. Я провела там с ним весь день, а потом ещё неделю. Ела больничную кашу с его тарелки, потому что он не хотел. Читали «Остров сокровищ» по ролям. Он был Сильвером, а я, по его настоянию, попугаем.

Тогда я и решила: хватит. Хватит жить в двух местах сразу, хватит завода по двенадцать часов. Вадим сказал: «Конечно, отдохни». И попросил оставить меня на ставке «для стажа».

Тёма поймал мой взгляд, быстро натянул пижамную куртку и сказал:

— Мам, не смотри, это личное.

— Ты был отличным Сильвером.

— А ты — ужасным попугаем.

* * *

С Ирой мы встретились в понедельник в кофейне у трамвайного кольца. Ирина Голубева, мой самый старый друг: с первого класса за одной партой, на выпускном вместе сбежали с бала на Чкаловскую лестницу. Адвокат по семейным делам, своя практика, маленький офис на Белинке и репутация женщины, которая «вынимает из мужей всё, включая совесть».

— Начинала я, кстати, у дяди Гены, ты помнишь? — сказала она, размешивая сахар в капучино. — Он меня и пристроил после юрфака. Пять лет у него отпахала, потом ушла в свободное плавание. Он у нас как папа римский: полгорода его выпускники.

— Помню. — Я выложила на стол паспорт. — Ир, давай сразу. Договор, аванс, всё как с клиентом.

— Ты с ума сошла? Мы двадцать пять лет…

— Вот именно. Двадцать лет я не платила за своё. Все решения принимал кто-то, кто «лучше знает». Хватит. Я хочу платить и иметь право спросить: что ты сделала за мои деньги?

Ира посмотрела на меня долго, потом вздохнула и достала из сумки бланк. Сто пятьдесят тысяч за развод и раздел, пятьдесят авансом. Я перевела с зарплатной карты. Минус пятьдесят. Я мысленно записала это в столбик.

— Значит, так. — Ира взяла бумажную салфетку и ручку. — Расклад плохой, сразу говорю. Вадим на развод уже подал, в пятницу, к мировому. Юрист у него Ковальчук Арсений Валерьевич. Скользкий, молодой, корпоративщик, наглый.

Она нарисовала на салфетке квадратик.

— Дом. Записан на свекровь, куплен на её имя, собственник — она. Мы можем, конечно, пытаться доказать, что деньги ваши, но это годы, и шансов почти ноль. Ставлю крест.

Крестик на квадратике.

— «Тёплый хлеб» — сто процентов у свекрови. Учредитель она, директор Вадим. Крест.

Второй крестик.

— Квартира на Верхневолжской — куплена в браке, в ипотеку на Вадима, остаток долга четыре двести. Совместная. Делится, но в ней живёт эта… — Ира поморщилась. — В общем, делится. Половина, минус половина долга. Негусто.

Кружочек.

— Твой заём заводу, два сто. Требуем.

Ещё кружочек.

— И доля. — Ира нарисовала большой круг и обвела его дважды. — Сто процентов «Сормовского хлеба» у Вадима. Завод, земля у Волги, корпуса. Да, там долги, кредит, но это единственное, что имеет вес. Всё решает доля, Вера. Если она общая, тебе половина. Это рычаг. С ним мы торгуемся за всё остальное.

Я смотрела на салфетку. Квадратик с крестом — дом, где Тёма сделал первый шаг. Квадратик с крестом — двадцать три пекарни, каждую из которых я выбирала сама, стоя на тротуаре и считая пешеходов. Кружочки. И большой круг, в котором было всё, что осталось от моего отца.

Двадцать лет брака уместились на салфетке из кофейни, и даже место осталось.

— Когда Вадим получил долю? — спросила Ира.

— В восьмом. Весной. Папа… папа передал ему, чтоб

осталось в семье. Мы с Вадимом уже были женаты.

— Купил или подарено?

— Я… — Я замялась. — Я тогда была на пятом месяце, Ир. Папа в реанимации. Я не помню бумаг. Я потом отказалась от наследства в пользу мамы, там тоже ничего не читала, нотариус показала, где подписать.

Ира постучала ручкой по большому кругу.

— Вот в этом вся игра. Купил в браке — половина твоя. Подарено — у тебя ноль. Подарок личное имущество, хоть в браке, хоть на Луне.

— Папа ему ничего не дарил.

Ира подняла на меня глаза.

— Ты уверена?

Я открыла рот, чтобы сказать «да», и не сказала. Потому что не была уверена. Потому что двадцать лет подписывала, где покажут, и даже не знала, что подписывал мой муж.

Глава 6

Не дури

Дядя Гена приехал в воскресенье, двенадцатого, без звонка, с пакетом мандаринов.

Мандарины в октябре — это было очень по-генински. Он всегда приносил то, что не по сезону: клубнику в феврале, арбуз в мае, ёлочную игрушку в июле, «чтоб не забывали, что праздник впереди». Тёма открыл дверь и обрадовался, как радуются только крёстным: без оглядки.

— Капитан! — Дядя Гена отдал ему пакет и пожал руку, как взрослому. — Как флот? «Крузенштерн» держит курс?

— Держит. Только у него ванты на бизани провисли, я переделаю.

— Ванты на бизани — это серьёзно. Дед бы оценил.

Семьдесят два года, седые густые волосы, клетчатый шарф, пальто из хорошей шерсти, но не новое, с аккуратной штопкой на манжете — дядя Гена принципиально не покупал новых пальто, «пока это не сносил». От него пахло одеколоном «Шипр» и табаком, хотя курить он бросил лет двадцать назад.

Мама вышла из кухни, вытирая руки полотенцем.

— Здравствуй, Гена.

— Здравствуй, Люда. Прекрасно выглядишь.

— Не выдумывай. — Мама повесила полотенце на крючок. — Вера, поставь чайник. Я пойду прилягу, голова что-то.

И ушла к себе, закрыв дверь. Она всегда уходила, когда приходил дядя Гена. Всегда, сколько я себя помнила, — с тех пор как папы не стало. «Голова», «давление», «надо позвонить сестре». Я думала, это потому, что он напоминает ей о папе. Однокурсники, тридцать лет бок о бок на заводе, одни и те же шутки.

Дядя Гена посмотрел на закрытую дверь, грустно улыбнулся и сел на кухне на папин стул. Тёма разложил мандарины горкой на тарелке и ушёл к кораблю.

— Ну, рассказывай.

Я рассказала. Коротко, по пунктам, как отчитывалась папе в девятнадцать. Карта, банк, свекровь, выписка, эвакуатор, Соня, проходная, коробка. Про Корнеева не сказала — сама не знаю почему. Наверное, потому, что не знала, что о нём сказать.

Он слушал, кивал, чистил мандарин длинной спиралькой, как умел только он: одна шкурка целиком, ни одного разрыва.

— Мерзко, — сказал он, когда я замолчала. — Мерзко, Верунь. Я Вадима знаю двадцать лет, не ожидал. Хотя… — Он развёл руками. — Мужики в сорок пять дуреют. Это я тебе как старый мужик говорю.

Он достал телефон, надел очки, потыкал пальцем. У меня в кармане звякнуло.

Зачисление 500 000,00 ₽. Отправитель: Геннадий Борисович Л. Сообщение: Не дури, Верунь, бери, что дают. Отдашь, когда будет.

— Дядь Ген…

— Тихо. — Он поднял ладонь. — Тебе сейчас жить. Тёму кормить. Адвокату платить. Я знаю, как это делается, я сорок лет в профессии. Отдашь, когда будет. Не будет — не отдашь. Ты моя крестница.

Я посмотрела на экран: пятьсот тысяч, без процентов, без срока, с сообщением «не дури». Самый щедрый подарок в моей жизни после бабушкиной квартиры — и он пришёл от

человека, который мне даже не родственник. А родной муж двое суток назад заблокировал мне карту на кофе.

— Спасибо, — сказала я. — Сейчас напишу расписку.

Он рассмеялся. Громко, от души, запрокинув голову.

— Ладыгинская порода! Лёшка такой же был. Я ему в девяносто пятом сотню долларов одолжил на бензин, так он мне расписку на салфетке написал. С датой и подписью. Я её до сих пор храню, представляешь.

— Представляю, — сказала я и достала из папиного стола лист бумаги.

Расписка. Я, Соколова Вера Алексеевна, паспорт… получила от Лаврентьева Геннадия Борисовича в долг денежные средства в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей безналичным переводом 12.10.2025. Обязуюсь вернуть. Дата, подпись.

Он взял лист, прочитал, кивнул и аккуратно сложил вдвое, а потом ещё раз — точно по линии, ногтем прогладив сгиб. Убрал во внутренний карман пальто.

— Порядок, — сказал он. — Папа бы тобой гордился.

Мы пили чай. Он рассказывал Тёме про то, как на «Крузенштерне» ходят курсанты и как в семьдесят шестом он сам видел его в Ленинграде. Тёма слушал с открытым ртом. Мама из комнаты не вышла.

* * *

В понедельник утром я пошла на почту.

Заявление об увольнении я написала накануне, ночью, за

папиным столом. Подумала над ним, как над годовым балансом. По собственному желанию, с тридцатого октября. Принести лично я не могла — меня не пускали дальше проходной иначе как «посетителя», а Нина не брала трубку. Значит, заказное письмо с описью вложения и уведомлением о вручении. Чтобы потом никто не сказал, что я «пропала и не вышла» и меня уволили за прогул. И чтобы дата была неоспорима.

Ручку я взяла папину. «Паркер», чёрный, с золотым пером. Мама подарила его мне на свадьбу: «Пусть будет у тебя. Он им подписал первый договор на поставки в девяносто четвёртом». Двадцать лет «Паркер» лежал в шкатулке, а я подписывала всё шариковыми ручками с логотипами банков.

Я поставила подпись и посмотрела на неё. Синие чернила, моя фамилия, которую я получила от Вадима. Первая подпись за двадцать лет, под которой я точно знала, что написано.

Почтовое отделение на Коминтерна — три окна, одно работает, очередь из пенсионеров с квитанциями. Женщина в окне взяла моё письмо, бланк описи, проверила, расписалась, шлёпнула штемпель и отдала мне квитанцию с трек-номером.

— Ценное? — спросила она.

— Очень, — сказала я.

* * *

Дома, пока Тёма был в школе, я открыла Госуслуги и заплатила фиксированные взносы ИП за 2025 год. Пятьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят восемь рублей.

ИП Соколова Вера Алексеевна было открыто в двенадцатом году. Тогда мы с Вадимом обсуждали, что я буду консультировать маленькие кафе — кому рецептуру, кому учёт поставить. Начались пекарни, дети, завод, на консультации не осталось времени. Двенадцать лет я сдавала нулевые декларации и платила взносы из своей зарплаты. Вадим смеялся: «Ты содержишь мёртвую душу». Я пожимала плечами.

Позвонила Ира — спросить про документы на квартиру.

— Ты, кстати, своё ИП не закрыла? Зачем тебе пустое ИП? Это ж минус полсотни в год ни за что.

— Пригодится.

— На что?

— Пригодится, Ир.

Она хмыкнула и не стала спорить. Ира знала: если я сказала «пригодится», то объяснять не буду. Иногда я и сама не могла объяснить. Но у бухгалтера есть особое чувство — чувство открытого счёта, который ещё сыграет. Двенадцать лет я платила за счёт, который не играл. Это было не упрямство. Это было то, что папа называл «держать патрон в патроннике».

* * *

Вечером дядя Гена заехал снова — забыл у нас перчатки, кожаные, с меховой подкладкой. Мама опять ушла в комна-

ту. Я вынесла перчатки в прихожую.

— Как ты тут, Верунь, держишься? — спросил он, натягивая их.

— Держусь. Заявление отправила. Взносы заплатила.

— Умница. Всё по закону, всё аккуратно. — Он застегнул пальто, обмотал шарф. — Ты, главное, не воюй сгоряча. Война — это годы. Деньги, нервы, дети. Я в судах сорок лет, я знаю, чем это кончается. Все проигрывают, кроме адвокатов.

Он открыл дверь, шагнул на площадку и, уже держась за перила, обернулся.

— Вадим, кстати, хочет встретиться с юристом. С тобой и юристом. Предложение у них хорошее, ты послушай. Без эмоций.

Я стояла в дверях.

— Откуда ты знаешь?

Дядя Гена улыбнулся мне той самой улыбкой, с которой когда-то приносил клубнику в феврале.

— Весь город мне звонит, Верунь.

Глава 7

Вадим

Вадим

Был второй час ночи. Кристина спала, отвернувшись к стене, подложив руку под щёку, как ребёнок. Вадим сидел на краю кровати в квартире на Верхневолжской и в который

раз открывал на телефоне одно и то же письмо из частной лаборатории.

Результат исследования: неинвазивный тест на определение пола плода. Срок беременности: 8 недель 1 день. Обнаружена Y-хромосома. Пол плода: мужской.

Мужской. Вадим погладил экран большим пальцем, как будто там было что-то, что можно погладить. Сын. Он уже решил, что назовёт его Лёвой. Лев Вадимович Соколов. Звучало. Кристина сначала хотела Марка, потом Мирона, но когда он сказал «Лёва», она посмотрела на него и улыбнулась: «Как скажешь». Ему нравилось, как она это говорит. Вера никогда так не говорила. Вера говорила: «Давай посчитаем».

За окном внизу горели огни Волги, мост, тёмная Стрелка. Квартиру он купил в девятнадцатом, в ипотеку, «для инвестиций». Вере сказал: сдадим, деньги детям на учёбу. Сдавал два года. Потом в двадцать третьем привёз сюда Кристину — «пока, временно», — и не стал объяснять даже себе, что значит это «временно».

Ему было сорок пять. Двадцать два года назад мать устроила его менеджером по продажам на хлебозавод Ладыгина. «Иди, там стабильно». Он пришёл в мятом пиджаке, с дипломом торгового техникума, и Алексей Николаевич посмотрел на него поверх очков так, будто прикидывал, сколько этот парень продержится. Продержался. Продавал хорошо: сети, детские сады, больницы. Его любили закупщики. Он умел улыбаться, помнить имена жён, привозить коньяк на

дни рождения.

Потом была Вера. Дочь директора, умная, в очках, в цеху в белом колпаке, с мукой на щеке. Он влюбился, кажется, честно. Или ему так казалось. Сейчас он уже не мог сказать.

Двадцать лет в доме Ладыгиных он чувствовал себя приживалом. Тесть — легенда: «Алексей Николаевич в девяносто третьем…», «Алексей Николаевич говорил…» Тёща — учительница, которая смотрела на него, как на двоечника, неправильно записавшего формулу. И жена, которая знала каждую цифру лучше него. Он подписывал документы, а Вера объясняла ему, что в них. На совещаниях он говорил, а люди смотрели на Веру — правильно ли. Даже дом в Новинках выбирала она. Даже пекарни назвала она: «Тёплый хлеб». Он хотел «Хлебный дом», она сказала: «Вадь, это звучит как столовая». И все засмеялись.

Теперь у него будет свой дом. Своя семья. Сын, которому никто не будет рассказывать, каким великим был дед.

Карту и машину ему подсказал Ковальчук. Арсений Валерьевич, молодой, в узких брюках и с часами, которые стоили, как полмашины. Сказал спокойно: «Вадим Сергеевич, обрежьте доступы сразу, в один день. Без предупреждений. Чтоб не наделала глупостей». Вадим спросил: «Каких глупостей?» Ковальчук улыбнулся: «Любых. Ваша жена — главбух. Главбух с доступом к банку и с обидой — это не жена, это риск». Звучало разумно. Он сделал.

Было ли ему неприятно, когда он узнал, что машину за-

брали прямо у школы, при Тёме? Было. Он собирался по-другому: позвонить в лизинг, попросить забрать из Новинок вечером. Но в лизинговой компании сказали, что всё уже назначено, «вам юрист согласовал адрес». Ковальчук потом извинился: «Накладка. Зато быстро». Вадим подумал и решил, что быстро — это правильно. Рвать — так сразу.

Соня выбрала его. Он вспомнил, как она стояла на кухне с этим зайцем и сказала: «Пап, я с тобой». Он не ожидал. Испугался, что придётся везти её сюда, к Кристине, в двушку с одной спальней и детской, где ещё не высохла краска. Но дочь сама всё поняла. Сама осталась. Значит, он прав. Если умная, взрослая, почти восемнадцатилетняя дочь на его стороне, — значит, он прав.

Тёма… Тёма встал рядом с матерью и поставил на стол корабль. Вадим вспоминать об этом не стал.

Завтра он напишет Вере. Коротко, как в рабочем чате. Ковальчук сказал: «Накануне, не раньше, чтоб не успела адвоката проконсультировать как следует». Послезавтра — встреча у Ковальчука. Три миллиона наличными или переводом — как захочет. Взамен она отказывается от раздела доли, квартиры и своего займа и даёт нотариальное согласие на продажу квартиры. Кристина хотела трёшку побольше, поближе к парку, «для Лёвы». Это тоже было разумно.

Три миллиона за то, что ей и так не положено. Это щедро, говорил Ковальчук. Доля в заводе — личное имущество Вадима Сергеевича, получена от тестя безвозмездно, бума-

га есть, всё чисто. Делить нечего. Квартира — да, её делить надо, но с ипотекой там копейки. Заём — «по займу у нас тоже всё решено, не волнуйтесь».

Вадим не стал спрашивать, как решено по займу. Он давно перестал спрашивать у юристов, как у них решено. За это им и платят.

Безвозмездно. Он попытался вспомнить восьмой год, весну. Тесть в реанимации, Вера на пятом месяце, белая, с огромным животом, ходит по коридору больницы и не может сесть. Его вызвали подписать какие-то бумаги. «Лёша решил, — сказали ему. — Чтоб завод остался в семье. Через тебя». Тёща потом подтвердила: «Алексей сам так решил». Он подписал. В каком кабинете, какие бумаги, сколько листов — не помнил. Помнил только, что подписывал быстро, а рука немного дрожала, и что в тот же вечер напился один в гараже.

Восьмой год у него лежал в дальнем ящике. Там же, где «старый долг». Он туда не заглядывал и не собирался. Есть вещи, которые человек кладёт в ящик и закрывает, и если он хочет жить нормально, он этот ящик не открывает. Вадим умел не открывать. Двадцать лет тренировался.

Он открыл другое — банковское приложение. Остаток на личном счёте, кредитка, лимиты. Ковальчук сказал, что после развода надо будет переоформить кое-что «на маму», чтобы при разделе не было лишних вопросов. Мама не возражала. Мама никогда не возражала, если речь шла о нём.

В телефоне тихо мигнуло сообщение от Сони: «Пап, ты спишь? Мне завтра нужны деньги на пробник, 1500». Он перевёл три тысячи и написал: «Не сплю. Люблю тебя, Сонька». Она прислала сердечко. Он смотрел на это сердечко и думал, что всё правильно. Всё просчитано. Всё по-взрослому.

Кристина пошевелилась за спиной.

— Ты чего не спишь? — спросила она хрипло, не поворачиваясь.

— Думаю.

— О ней?

— О деле.

Она помолчала. Потом повернулась на спину и посмотрела в потолок. В полутьме он видел только её профиль.

— Вадь. А если она не возьмёт? Три миллиона?

Вадим положил телефон на тумбочку экраном вниз. Лёг рядом, положил ладонь ей на живот, ещё совсем плоский, тёплый.

— Возьмёт, — сказал он. — Она двадцать лет подписывала, где покажу.

Глава 8

Шкатулка

В среду, пятнадцатого, я провела ревизию своего.

Бухгалтер, который не знает своих активов, — не бухгалтер, а женщина с калькулятором. За неделю я узнала, что не

знаю почти ничего о том, что считала нашим. Значит, надо было хотя бы знать, что осталось моим.

Я разложила на папином столе всё. Паспорт, СНИЛС, свидетельство о браке, детские свидетельства о рождении. Выписка с зарплатной карты: 380 тысяч минус 50 авансом Ире, минус взносы, плюс 500 от дяди Гены в долг. Трудовой договор шестнадцатилетней давности. Договор лизинга, который уже ничего не стоил.

И бабушкина шкатулка.

Деревянная, семёновская, с хохломой: красные ягоды и золотые листья по чёрному. Бабушка Аня держала в ней облигации, письма деда с фронта и свои бусы из чешского стекла. Когда она умерла, шкатулка досталась мне вместе с однушкой на Бекетова. Однушку я продала в апреле одиннадцатого. Бусы отдала Соне. Письма деда лежат на дне. А сверху — бумаги, которые я никогда не держала в сейфе дома в Новинках, потому что дом в Новинках никогда не был моим. Видимо, я это знала. Где-то там, где не считаю.

Сверху лежал договор займа.

Договор займа № 1. г. Нижний Новгород, 14 апреля 2011 года. Займодавец: Соколова Вера Алексеевна. Заёмщик: ООО «Сормовский хлеб» в лице генерального директора Соколова В.С. Сумма займа: 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) рублей. Срок возврата: до востребования.

О процентах в договоре не было ни слова. Вадим тогда сказал: «Какие проценты, мы ж семья». Я согласилась, но не

потому, что «семья». Я, главбух, знала: если в договоре займа между гражданином и организацией не сказано, что он беспроцентный, проценты всё равно идут — по ставке рефинансирования, по закону. Я тогда подумала, что это неважно. Через четырнадцать лет это стало важно.

Я взяла калькулятор — папину «Электронику», которая не работает, держала её в руке просто для уверенности, а считала на телефоне. Четырнадцать с половиной лет. Ставка менялась каждый год, иногда по три раза. Я выписала периоды столбиком, как учила студенток на практике: дата, ставка, дни, начислено. Получилось около двух миллионов семисот. Вместе с телом — примерно четыре и восемь.

Четыре миллиона восемьсот тысяч. На эти деньги можно снять двушку на три года. Или оплатить Соне платное отделение, если она не доберёт баллов. Или купить «Киа», которую не заберут у школы.

Под договором лежало свидетельство на товарный знак. Плотная бумага с гербом Роспатента, словесное и изобразительное обозначение «Тёплый хлеб»: колосок и пар над буханкой, который я сама рисовала карандашом на салфетке, а потом заплатила дизайнеру восемь тысяч, чтобы он сделал красиво. Правообладатель — индивидуальный предприниматель Соколова Вера Алексеевна. Срок действия продлён до 2033 года.

В двенадцатом году юристы посоветовали оформить знак на кого-то, кто «не уйдёт вместе с заводом при банкротстве».

Вадим махнул рукой: «Оформляй на своё ИП, какая разница». Разницы тогда и правда не было.

К свидетельству была подколота копия лицензионного договора: неисключительная лицензия ООО «Тёплый хлеб», вознаграждение — один рубль в год. Регистрация в Роспатенте, номер, дата. Мой палец задержался на строке со сроком действия — и пошёл дальше, к подписям. Я помнила эту строку. Я вообще помню сроки всех договоров, которые когда-либо проверяла. Это профессиональная болезнь, как у пианистов мозоли.

Я сложила бумаги обратно и накрыла шкатулку крышкой. Хохломские ягоды лежали под ладонью прохладные и гладкие.

* * *

После школы Тёма лёг на диван с телефоном и вдруг попросил:

— Мам, покажи прошлый Новый год.

— Какой?

— Видео. Где ты тост говоришь. У тебя в чате было.

Семейный чат «Соколовы». Четверо участников: я, Вадим, Соня, Тёма. Шесть лет переписки: «купи хлеба», «я задерживаюсь», «где ключи от гаража», мемы с котами, которые кидал Тёма, и голосовые от Вадима, которые никто не слушал до конца. Последнее сообщение — от меня, неделю назад: «Ребята, ужин в семь». Никто не ответил.

Я пролистала вверх, до декабря прошлого года. Нашла.

Гостиная в Новинках, ёлка до потолка, гирлянда, которую Тёма три часа распутывал. Стол с оливье, холодцом Галины Борисовны и моим фирменным ржаным с тмином. Я в синем платье, с бокалом, немного смущённая. Камера дрожит — снимает Вадим.

— Дорогие мои, — говорю я на видео. — Этот год был… сложный. Но мы вместе. И это главное. Я хочу, чтобы в следующем году…

— Верунь, давай короче! — голос Вадима за кадром, весёлый, чуть пьяный. — До курантов уже меньше часа, а ты как на планёрке!

Все смеются. Соня закатывает глаза, но тоже смеётся. В кадр влетает Тёма с бенгальским огнём в руке. Искры летят на скатерть, бабушка кричит: «Артём, на улицу с этим!» Тёма кружится и выводит в воздухе огненную восьмёрку.

— Это знак бесконечности, — серьёзно говорит Тёма в камеру. — Чтобы всё было всегда.

Видео заканчивается. Тёма смотрит на экран, не моргая.

Я хотела сказать что-то правильное — про то, что всё равно было хорошо и всё равно будет. Не успела. На экране, прямо под видео, всплыла серая системная строчка:

Вадим покинул группу

Минуту назад. Пока мы смотрели. Пока его голос говорил «Верунь, давай короче».

Тёма прочитал. Положил телефон на диван экраном вниз. Встал и ушёл на кухню. Через минуту я услышала мамин го-

лос:

— Иди сюда, Артём. Будем ржаной ставить. Мука в нижнем шкафу.

Я вышла следом и встала в дверях кухни.

Мама насыпала в эмалированную миску ржаную обдирную, достала из холодильника банку закваски — её закваске лет тридцать, папина ещё, мама кормит её раз в неделю, как кошку. Тёма засучил рукава.

— Сначала руками, — сказала мама. — Ложкой не чувствуешь. Тесто должно сказать тебе, сколько воды.

— Как оно скажет?

— Прилипнет. Или не прилипнет. Слушай пальцами.

Тёма запустил руки в миску. Мама положила свои ладони поверх его — сухие, с проступившими венами, с обручальным кольцом, которое она так и не сняла, — и начала месить вместе с ним, медленно, складывая тесто от краёв к центру.

Её руки вдруг стали мягче, чем лицо. Лицо оставалось строгим, учительским, с поджатыми губами. А руки гладили тесто, как гладят спину ребёнку, который плачет и не хочет, чтобы видели.

Я вернулась в комнату, села за папин стол и открыла шкатулку ещё раз.

Заём я потребую. Не потому, что мне нужны деньги, хотя они мне очень нужны. А потому, что это мои деньги. Моя бабушкина однушка на Бекетова, где на кухне висел отрывной календарь и пахло валерьянкой. Мои первые три пекар-

ни. Мой единственный договор за двадцать лет, где я была не той, кто подписывает, а той, кому должны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.